

*И. В. Голубович  
(г. Одесса, Украина)*

**ОНТОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА ДЕТСТВА:  
ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ И ВИКТОР ПЕЛЕВИН  
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТЮД)**

**Цели и задачи работы.** Представляемое нами исследование – это своего рода научный этюд, case-study в области выявления в автобиографических воспоминаниях о детстве слоя своеобразной «онтологии детства», некоего «метафизического ландшафта» детства. Он оказывается определенной инвариантой в самых разнообразных примерах автобиографического осмысления детского опыта, причем в различных модусах этого осмысления: стремление по возможности аутентично передать опыт детства (П. Флоренский) и искусственное конструирование в литературном произведении воспоминаний детства героя, на первый взгляд, сюжетно совершенно не совпадающих с личным опытом автора (В. Пелевин). Согласно нашей исходной установке, ни в том, ни в другом случае речь не идет о реальном детстве («как оно было на самом деле»), детство оказывается функцией, качеством, модальностью текста (модальностью внутреннего опыта), организующим смыслоконституирование, в данном случае смыслоконституирование особого рода, касающееся осмысления глубинных основ мироздания, трансцендентного основания «социального космоса».

**Предварительные замечания. К постановке проблемы.** Движение к постановке проблемы «онтологии детства» нами осуществлялось, как минимум, в двух направлениях. Во-первых, в рамках философского осмысления феномена биографии и социокультурных оснований биографического (в том числе, автобиографического) дискурса. Как нам представляется, одна из главных задач философского анализа феномена биографии – синтез ее экзистенциального и нарративного измерений [см.: 5; 6; 9]. Проблематика детства – одна из ключевых в рамках указанного синтеза. Однако детство в автобиографической перспективе способно открыть еще одно измерение – онтологическое. Философски описать структуру, язык «онтологии детства», ее трансформации и рефигурации во «взрослом» опыте – интереснейшая исследовательская задача. Она во многом пионерская даже на фоне повышенного внимания к «детству» и

«детскому» в современной культуре и гуманитаристике. Во-вторых, в настоящей публикации представлена попытка применения методологии философской герменевтики [1; 7; 8; 9; 15] для сравнительного анализа конкретных разножанровых текстов (в данном случае, мемуарно-автобиографического и литературного), – анализа, нацеленного на выявление онтологичности детского опыта.

**Онтология: многообразие смыслов.** Для осмысления детского опыта мы используем два значения «онтологии». Во-первых, традиционное, относящееся к фундаментальным основаниям бытия и мироустройства. Во-вторых, достаточно новая трактовка – «онтология социокультурного мира», представленная, в частности, в гуссерлевском «историческом априори» или в концепции «исторической трансцендентальности» у П. Бурдье [см., в частности: 2, с. 62–63]. Эти два региона онтологии (как минимум два) осмысливаются и осваиваются в детском опыте. Кроме того, речь должна идти и об онтологичности самого детского опыта. Детство – это своеобразное «онтологическое априори» человеческого существования, индивидуальной жизни-судьбы-биографии, условие возможности на персональном уровне совершать прорывы в область надперсонального – мирового и социального – космоса.

**Выбор текстов.** Мы обращаемся к двум разножанровым литературным произведениям, понимая рискованность их прямого сопоставления. Это – воспоминания Павла Флоренского «Детям моим. Воспоминания прошлых лет» [13] (написаны между 1916–1926 годами) и рассказ Виктора Пелевина «Онтология детства» (1991) [12]. Выбор текстов обусловлен тем, что в них очень ярко раскрывается онтология детства и онтологическое во всех указанных нами выше смыслах, причем оно обнаруживается в парадоксальных взаимопереплетениях и очертаниях. Обращение к избранным литературным произведениям дает возможность тщательно, неспешно, в режиме «близковидения» осуществить анализ онтологических оснований детства и способов возвращения к детскому онтологическому восприятию, возвращения, балансирующего на грани «возможно-невозможно».

**Методология.** Выбор сделан в пользу методологии философской герменевтики, сформулированной, в первую очередь, В. Дильтеем и Г.-Х. Гадамером. Особенность философской герменевтики – осмысление понимания не как методологии, а как онтологии человеческого бытия. Это, по выражению одного из ведущих современных американских представителей философской герменевтики Дж. Капуто (J. D. Caputo) [15], – «онтогерменевтика» или «радикальная герменевтика». В ее рамках создается возможность осуществить исследовательский синтез нарративного и онтологического при рассмотрении феномена биографии и осмысления опыта детства. В контексте указанного синтеза герменевтика тесно

переплетается с феноменологией, предлагающей дескриптивный подход для анализа актов смыслоконституирования и ноэтико-ноэматических единств.

### **Павел Флоренский. «Детям моим. Воспоминания прошлых лет»**

***1. Семья – уединенный остров и островной рай. Конституирование социокультурного мира «из нулевой точки».***  
Изначальная ситуация в семье Флоренских: родители сознательно порвали со своими семейными и родовыми корнями, отгородились от социума, его норм, условностей, мишуры. Отец – «Новый Адам» – основной своей жизненной задачей считал создание семьи на новых идеальных, гармоничных основаниях и защиту ее границ от вторжения внешнего мира. Это был «эксперимент с жизнью» – попытка на чистом поле семейной жизни возрастить рай (утопический проект «идеального социального»), которому не страшны «холод и грязь общественных отношений и даже сама смерть» [13, с. 5]. Жизнь семьи – жизнь на уединенном, необитаемом острове; люди – похитители чистоты этого островного рая – лишь терпелись, «брезгливость к житейским сторонам общественной жизни у отца и горделивая боязнь жизни у матери». «И в пространстве и во времени были мы „новым родом“, новым поколением» [13, с. 3, 4]. В семье табуированы разговоры о чинах, доходах, сплетни и пересуды.

В отличие от других, «нормальных» семей, где социальное и природное даны ребенку изначально и синкретично, в данном случае стандартно социальное почти отсутствует. Павлик Флоренский оказывается в некой нулевой точке («я рос без прошлого» [13, с. 7]), где начинается его собственная индивидуальная работа по именованию и смыслоконституированию социокультурного мира. В этом контексте его ситуация сходна с ситуацией героя Пелевина – в «нулевой точке», где отсутствуют нормальные социальные связи и где никто не объясняет суть «ненормальных» связей, ребенок в тюремном бараке сам на свой лад конструирует социум.

«Отец и мать моя выпали из своих родов <...>, нить живого предания выпала из рук их» [13, с. 5]. Внутреннее детское переживание отсутствия родовых корней («затрудненности дыхания в без-исторической среде») – один из главных импульсов для возвращения взрослого П. Флоренского к родовой «почвенной жизни». «Тщательное уединение семьи от всего иного» [13, с. 5]. Социальное, которое для большинства – свое, родное, обжитое пространство, здесь – Иное. Проблематика Иного – одна из наиболее актуальных для современного гуманитарного знания. В разнообразных типологиях выделяются: Другое, Не-Свое, Чужое, Отторгаемое [см., напр.: 3; 4; 11]. Социальное пространство для родителей Флоренского – это Чужое и Отторгаемое. Для маленького Павлика, который застаёт его как уже

отторгнутое, оно – просто Чужое, Не-Свое, Незамечаемое, лежащее за пределами его собственного горизонта, на периферии видения. Отталкивание от социума – скорее интуитивное, нежели сознательное. Вместе с тем, в отторгнутом родителями социальном пространстве для него есть не только Иное-Отторгаемое, но и Иное-как-ценное. Это – родовые корни, семьи дедушек и бабушек, – их родители Павла Флоренского тоже отторгли, как органическую часть ненавистного им социального мира. История семей Флоренских и Сапаровых для автора воспоминаний – это то Иное, по которому бесконечно тоскует душа, и куда, как к заветной цели устремляется мысль.

Во многом тяга к родовому – это тяга к всегда притягательному Иному, которое все равно своим так никогда и не станет. Знания о родовых семейных корнях для автора воспоминаний «не были знаниями, всосанными с молоком матери, не были жизненным, навек неотделимым от ума моего впечатлением, но были археологической реставрацией прошлого, научной работой <...> мне скорбно и тоскливо, что это так» [13, с. 6].

Среди этого высокогорного воздуха «семейного рая» Павлик задышался без корней. (Он называет семью «островным раем»; как нам представляется, подходит и эпитет «высокогорный», учитывая кавказский ландшафт детства Флоренского и его особое внимание к горным породам.) Рай на вершине горы, сюда добираются родители – лучшие из людей, с большими усилиями и жертвами, а Павлик здесь уже как дома, без всяких усилий, ему легче критически оценить «идеальный социум» в миниатюре. Именно в такой «нулевой точке», где оказался герой, обнаруживается исток и тайна социального, демонического и «райского» в нем.

**2. Природа: Артемида Эфесская и Солнце-Молох.** Интерес к природе и тайнам мироздания, с раннего детства питавший П.Флоренского, усиливался еще и тем, что природа оказалась почти единственной объемлющей, обжитой реальностью, внимание не отвлечено на социальное, его попросту нет. В оппозиции «природа-культура», пусть даже условной в своей жесткой разделенности, колоссальный перевес на стороне природы. Огромный зазор, который у других сразу же оказывается заполнен социальным, здесь остался открыт, он оказался дверью в мир Природы и далее в мир Трансцендентного (Таинственного, Мистического).

Отношение к природе оказывается с раннего детства двойственным. В воспоминаниях оно именуется через обращение к мифологическим персонажам – Артемида Эфесская и Солнце-Молох. Однако такое отношение складывалось из конкретных жизненных впечатлений. Артемида Эфесская – символ изобилия, рождающей, насыщающей, изобильной и благодетельной силы природы. Эта сила воплощена для мальчика в матери. «В матери я любил Природу или в Природе Мать – *Naturam naturantem Спинозы*» [13, с. 22]. Отношения к матери – не личные, не нравственные, а

пантеистические, «<...> священный трепет и молчание, прохлада и робость <...> не страх, а..., <...> в ней я не воспринимал лица: она вся окружала наше бытие, всюду чувствовалась и была как-то невидима» [13, с. 22]. Автор мемуаров подчеркивает, что ни в детстве, ни сейчас силой анализа не в состоянии расчленишь аморфного, хотя и очень сильного, впечатления от матери, оно не может объективироваться и выразиться в слове. Возможно, поэтому в описании отношения к Матери доминирует язык взрослого человека – пантеизм, Спинозовская творящая натура и даже Артемида Эфесская никак не могли быть известны маленькому мальчику.

Враждебная сила природы открывалась через опыт прогулок под тифлисским солнцем. Тяжелые, «словно злые лучи» врезались в сознание, воплотились в чувство враждебности Солнца-Молоха, готового пожрать все живое. Отец нес сына на плече – «у меня осталось за эти ношения на плече к нему наиболее благодарное чувство как к избавителю от враждебного и злого Солнца-Губителя» [13, с. 21].

**3. Встречи с таинственным – «таинственные потрясения души». Мистическое «есть» – эмпирическое «кажется».** Детские встречи с Таинственным, Мистическим составляли самые глубокие «внутренние складки моей душевной жизни», пишет П. Флоренский. Он видел таинственное в обычных явлениях и событиях, взрослый автор подчеркивает – не приписывал, но действительно обнаруживал. «В детстве же чувство таинственности было у меня господствующим, это был фон моей внутренней жизни» [13, с. 29]. С самого раннего детства у мальчика сложилась особая форма восприятия, выраженная в формуле: мистическое «есть» – эмпирическое «кажется».

Переживание таинственного было многослойным – это чувство откровения тайн природы, ужаса, с ним связанного, и непреодолимого влечения. Каждый из этих «слоев» – откровение, ужас, влечение – автор обнаруживает в конкретных жизненных впечатлениях. Одно из самых ярких – «случай с точильщиком». Впервые увидев «искромётный снаряд», «я стоял как очарованный взглядом чудовища. Предо мною разверзались ужасные таинства природы. Я подглядел то, что смертному нельзя было видеть <...>» [13, с. 15]. Флоренский указывает и на внезапность «преображения обычного». «Что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его» [12, с. 31]. В данном случае этот опыт также не может быть выражен «детским» языком, его описывает взрослый автор, уже знающий о платоновском припоминании, о феноменах и ноуменах. А сила самого преобразенного предмета или явления подчеркнута Флоренским тем, что не в нем, а им открывается Иное.

В воспоминаниях описываются два вида переживания таинственного: одни явления всегда манили душу, никогда не давая ей возможность

насытиться, другие, напротив открывали таинственную глубину свою лишь урывками или единично. Первый вид переживания таинственного был, прежде всего, связан с морем. Пример «единичного» впечатления – искра от дровяной печки, летящая в ночной темноте. Однако яркость такого единичного впечатления связала его с другими. Флоренский пишет о своем «взрослом» впечатлении (1919 года) – искра от кадила во время службы в темном пространстве алтаря напомнила о «детской искре», а та, в свою очередь, будила воспоминания об огненном потоке искр из-под колеса точильщика. И вдруг пришло осознание, что «всю жизнь пронизывает невидимая нить искр, огненная струя золотого дождя, осеменяющая ум, как Юпитер Данаю» [13, с. 33].

Одно из самых сильных детских впечатлений для Флоренского – море. «Дары моря, как смычком вели по душе и вызывали трепетное чувство – не чувство, а словно звук, рвущийся из груди – предощущение глубоких, таинственных и родимых недр, как весть из хризоберилловых и аквамаринных недр бытия. Ведь эти зеленые глубины были <...> родимые, родные, до сжатия сердца» [13, с. 42]. Однако взрослому автору осталось лишь «внешнее море», а блаженное море детства, «метафизическое море» исчезло навсегда.

Метафизическое «блаженное море блаженного детства» принадлежит области ноуменов, его уже не увидеть – разве что в себе самом, вынужден признать на научно-философском языке взрослый автор. Он уверяет, что в его детском опыте «ноумен когда-то воистину виделся, обонялся, слышался» [13, с. 43]. Душа и тело тоскуют по нему, спасение для взрослого – отдельные явления порою вдруг всколыхнут это сокровенное знание, и оно снова обнаружится и приведет в трепет. Ноуменальное вновь «оживает» (правда, лишь на мгновение) в обычных предметах – во флюоресцирующих веществах, в запахе водорослей, даже пузырька с йодовой тинктурой. (Еще одно объяснение интереса к йоду у П. Флоренского.)

Однако не только предметы оказываются отмеченными памятью о метафизическом детском море, но и цвета, запахи и звуки. Глубоко трогают душу все оттенки зеленого, зелено-синего, зелено-желтого, напоминающие о пленительной «зеленизне морской воды». Будоражит йодистый, «зовущий и вечно зовущий» запах моря, шум прибоя, «весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый как готический собор». Прибой метафизического моря слышен в «набегающих и отбегающих ритмах» баховских фуг и прелюдий.

Таинственное как фон внутренней жизни преобразовало и внешнее восприятие мира. «Все окружающее, то, что обычно кажется и не признается таинственным, очень многие привычные и повседневные предметы и явления имели какую-то глубину теней, словно по четвертому измерению, и выступали в рембрандтовских вещих тонах» [13, с. 30].

**4. Детские страхи и запреты взрослых.** О детских страхах П. Флоренский пишет, прежде всего, в связи с опытом переживания мистического. Он вспоминает панический ужас, пережитый после упоительного и страшного мига слияния с огненным первоявлением природы (случай с точильщиком). Здесь же он отмечает, что впервые обнаружил тогда одну из характернейших особенностей своей внутренней жизни – «никогда не изменявшее самообладание в минуту последнего ужаса» [13, с. 17]. Казалось бы, страх преодолен самообладанием и его можно откинуть. Однако автор воспоминаний всматривается в природу этого страха, обнаруживая его спасительную и охранительную роль. Страх перед таинственным – обозначение той границы, куда не должно заходить «опытное опознание», «не должно человеческому оку смотреть на тайны естества», хоть они и открывают мир совсем с иной стороны. Вот о чем говорили страхи. Кредо, теоретически сформулированное позже, в детстве было пережито интуитивно и навсегда усвоилось в душе. «Хотя <...> по непреодолимому своему исследовательству я не всегда исполнял эту заповедь о непознании», – признается П. Флоренский. Детские страхи охраняют от вторжения в область непознанного; когда страхи преодолеваются – взрослые нарушают запрет, нарушая тем самым природный и сверхприродный строй.

Однако для ребенка взрослый по преимуществу – не нарушитель запретов, а их источник или проводник. Запреты взрослых, как правило, связаны с областью повседневного и обычного, однако и здесь может открыться зона запретов онтологических. Так отец Павлика, наскоро набрасывает карандашом фигурку обезьяны, которая будет охранять от посягательств мальчика роскошный виноград, принесенный в дом. И вдруг эта нарисованная обезьяна в воображении Павлика превращается в безусловного стража прозрачно-зеленого, светящегося изнутри (так похоже на любимый морской цвет) «восхитительного изобилия». «Нарисованный – и живой, более мощнее, значительнее, неумолимее живого <...>. Я тогда-то и усвоил себе основную мысль позднейшего мировоззрения своего, что в имени – именуемое, в символе – символизируемое <...>. Это-то символизируемое, эта охраняющая сила Природы стояла передо мною в рисунке моего отца, при мне же нарисованного» [13, с. 20].

**5. Непонимание взрослых.** Тема непонимания со стороны взрослых в воспоминаниях возникает по преимуществу в связи с переживанием таинственного. И это непонимание было столь контрастным еще и потому, что в целом в семье, особенно между отцом и сыном царила атмосфера доверительности и понимания, преклонения перед отцовскими знаниями и авторитетом. Мальчик интуитивно понимал, что взрослые не постигнут таинств, открывавшихся ему во всем, в этом вопросе он никого не слушал, но и не спорил со взрослыми.

Когда отец по научному объяснял слоистую структуру камней, мальчик ее не принял, сохраняя верность своей исходной интуиции – в каменных слоях скрыто окаменелое время, и если сильно напрячься, оно заговорит с тобой. Так же никто из взрослых не мог убедить Павлика, что блики на воде – это лишь оптический эффект, а не живые змейки.

Столкновение двух объяснительных моделей напоминает ситуацию Дон-Кихота, который не верил доводам здравого смысла, объяснявшего, что самая большая его ценность – всего лишь таз для бритвы, а не волшебный шлем Мамбрина. А. Щюц в традиции феноменологической социологии глубоко проанализировал эту ситуацию сквозь призму своей концепции о «субуниверсумах реальности» в работе «Дон Кихот и проблема реальности», которая также может быть применена к осмыслению воспоминаний Флоренского [14].

Значимой для нас будет разработка А. Щюцем концепции разнообразных порядков реальности (orders of reality), которую он развивает на основе идей У. Джеймса. По его мнению, существует нескольких порядков реальности, каждый из которых обладает своим особым и отдельным стилем существования, «особыми формами базовых категорий мышления, а именно – пространства, времени, причинности» [14, с. 145, 149]. Это «субуниверсумы значений», среди которых – мир науки, сверхъестественные миры, миры индивидуальных мнений, миры полнейшего сумасшествия и причуд и т.д. Однако «первостепенной реальностью» (paramount reality) является повседневность, которую социолог обозначает как «мир значений и физических „вещей“, воспринимаемых здоровым смыслом» [14, с. 145]. Щюц ничего не говорит о «мире детства», который мы могли бы без натяжки отнести к «субуниверсумам» и исследовать затем самодостаточный и самоописывающийся «детский универсум». Однако, как нам представляется, в сравнении с ним повседневность (взрослый мир «здравого смысла») уже не будет обладать статусом «первостепенной реальности», поскольку и сам «детский мир» также является повседневностью, но только иного рода. Эту инаковость «детской повседневности» можно обозначить также через важное для Щюца понятие «анклавы опытов трансцендентности» (таинственные и ужасные звуки ночи, видения, пророчества, чудесное и т.д.). Повседневность «взрослых» стремится с помощью различных объяснительных процедур элиминировать трансцендентное; ей, как правило, успешно удастся поддерживать веру в реальность, избранную в качестве первоосновы перед лицом вторжений опытов, выходящих за ее пределы. Для «детского мира» опыт трансцендентности – не периферия, он не «выталкивается» здоровым смыслом, а существует потенциально в каждой его точке, создавая особую двумерность-двумирность, которая в позднейшем видении в



автобиографической рефлексии предстает у Флоренского как дополнительный рембрандтовский свет, как четвертое измерение.

### **Виктор Пелевин. «Онтология детства»**

**1. Тюрьма вместо «островного рая».** В рассказе перед нами вымышленная (но вполне возможная ситуация) – ребенок растет не в «островном раю», а в тюрьме, «самом грязном и вонючем углу мира». Этот контраст позволяет обнаружить сходные механизмы освоения мира и смыслоконституирования в детском опыте, причем так, как этот процесс видится взрослому. Эта «взрослость» взгляда (а, возможно, «взрослая модель», лишь маскирующаяся под детскую) в случае с В. Пелевиным оказывается более очевидной, хотя бы в силу законов самого избранного им жанра. Однако, моменты описания особенностей детского восприятия, сближающие этот сложный литературный текст (закрывающий внутри себя и интерпретирующую его «феноменологическую машинку») с воспоминаниями П. Флоренского дает возможность говорить о том, что здесь – не просто мистификация и умелая маскировка взрослого под ребенка, а обнаружение неких фундаментальных оснований детского опыта.

**2. Онтологичность и символичность вещей.** В детстве «существовало много вещей и событий, готовых по первому твоему взгляду раскрыть свою подлинную природу». В опыте маленького эзика прежде всего открывается «онтологичность вещей» – самые повседневные, обычные, в изолированном пространстве камеры именно они указывают на другой мир. Мальчику никто не рассказывает сказок и мифологических историй, лишь вещи говорят с ним и открывают Иное. В этой изоляции символическое измерение вещей, которое в обычной ситуации может быть не столь востребованным, оказывается не просто востребованным, а спасительным. Окружающие предметы компенсировали, замещали функции сказки и мифа, обычно раздвигающих границы повседневности. «Вертикальный барашек в щели между кирпичами и был первым утренним приветом от огромного мира, в котором мы живем <...>». Это позволяло мысленно раздвинуть тюремные стены, трансформировать замкнутое пространство. Онтологичность вещей постепенно «изнашивается» за время «своего долгого путешествия из прошлого в настоящее». Как нам представляется, «из прошлого в настоящее» героя, а не самой вещи, однако в его опыте жестких границ между временем его жизни и временем жизни вещей не существует. «Окружающие предметы потеряли самое главное – какое-то совершенно неопределимое качество». Затрудняясь его определить, герой пытается его описать. Вещи менялись в зависимости от присутствия или отсутствия взрослых. В их присутствии они сжимались, уменьшались, скрывали свою глубину. Как подчеркивает М. Мерло-Понти в «Феноменологии

восприятия», «для ребенка другие являются взглядами, инспектирующими вещи, они имеют почти материальное существование и они материальны до такой степени, что ребенок спрашивает себя, как же они не ломаются, когда пересекаются» [10, с. 453]. Таким образом, в детском онтологическом видении граница между материальным и нематериальным размыта – вещи обнаруживают свою нематериальную природу, а взгляд оказывается предельно материальным, разящим, ранящим в прямом, а не переносном смысле слова.

Когда никого из «инспектирующих» взрослых не было, все заключенные уходили на работу, «вещи словно расслаблялись и прекращали что-то скрывать». «Каждая из досок нар покрывалась узором, становились видны годовые кольца, пересеченные когда-то пилой под самыми немислимыми углами». Через «годовые кольца» в камеру проникало «застывшее время», давая возможность развернуть себя (у П. Флоренского детское переживание времени – через «слоистую структура камня», похожую на рисунок годовых колец у деревьев).

Возможность обнаружения «онтологического» в окружающем мире заключена в самой специфике видения. «Видеть – на самом деле значит накладывать свою душу на стандартный отпечаток на сетчатке стандартного человеческого глаза». Способность к «онтологическому видению» исчезает, когда внутри умирает самое глубокое и важное, способное отразиться на твоей сетчатке. «Но какая бы всенародная смена белья ни ждала впереди, уже никому не отнять у прошлого того, что видел кто-то (бывший ты, если это хоть что-нибудь значит)»

**3. Солнце: феноменология онтологического восприятия.** Мальчик, никогда не оказывавшийся под палящими лучами солнца, видел в нем лишь благодатную силу, открывающую в том мире, где он живет, «замаскированные области полной свободы и счастья», и обнаруживающую в окружающих предметах «все самое лучшее, на что они способны». Только солнце указывает на существование добра и истины (либо же лишь в свете его лучей возможно было вообразить добро и истину, пусть даже вербально их нельзя будет выразить). Бояться нечего, в мире нет ничего страшного – говорят полосы света на полу и стенах. Особенности феноменологии восприятия солнца: маленький эзк не мог воспринять его как ослепительное пятно в небе, а лишь как полосу воздуха, в которой висят пушистые пылинки. Он может долго созерцать этот световой рой, начинает казаться, «будто есть какой-то особенный маленький мир, живущий по своим законам, и то ли ты сам когда-то жил в этом мире, то ли еще можешь туда попасть и стать одной из этих сверкающих невесомых точек». В воспоминаниях Павла Флоренского – искры, каждая из которых, если всмотреться, приобретала очертания фигуры ангела, были частью невидимого мира, в котором жили его сны.

**4. Мир говорит с тобой.** Это та весть, которую несут маленькому обитателю камеры солнечные лучи, ее же получает и маленький Павел Флоренский от самых разнообразных явлений природы – особенно от моря («ласковая весточка моего, материнского что ли, зеленого полумрака»). «В мире нет ничего страшного. Во всяком случае, до тех пор, пока этот мир говорит с тобой, потом, с какого-то непонятого момента, он начинает говорить тебе», – пишет Виктор Пелевин. Есть разница между миром, который говорит с тобой, и миром, который говорит тебе. Парадокс заключается в том, что «мир, говорящий с тобой» для ребенка – это прежде всего Природа и мир окружающих вещей, все то, что «молчит» в мире взрослых. А мир социальный, на первый взгляд устроенный как диалог и коммуникация, оказывается «миром, говорящим тебе» в форме норм, требований, предписаний, запретов и т. д. И «страшное» приходит именно из социального мира. Для героя «Онтологии детства» трансформация мира происходит тогда, когда он начинает жить по распорядку взрослых, его будят вместе с другими и назначают трудовую норму, он неизбежно втягивается в мир разговора взрослых.

Мир окружающих предметов и солнечных лучей был для ребенка родным, обжитым, а мир взрослых – мир их утренней ругани и вечерних «тяжелых разговоров о пересменках, нормах и близкой смерти» – странным, на него можно было не обращать внимания, до поры, когда на тебя в полной мере начали распространяться законы твоей тюрьмы.

**5. Мир говорит тебе.** Мир социального достаточно агрессивен, он стремится втянуть в свое поле всех, тем более в тюрьме, где от этого агрессивного вторжения уклониться невозможно; он стремится элиминировать саму возможность онтологического видения, разрушить «метафизический ландшафт». «Взрослые очень понятны, но сказать про них почти нечего. Часто бывает пакостно от их пристального внимания к твоей жизни. Вроде бы они не требуют ничего: на секунду отпускают невидимое бревно, которое несут всю жизнь, чтобы с улыбкой нагнуться к тебе, а потом, выпрямившись, опять взяться за него и понести дальше – но это только на первый взгляд. На самом деле они хотят, чтобы ты стал таким же, как они, им надо кому-нибудь перед смертью передать свое бревно». Возможно, от схожего с «тюремной версией» видения социального, преемственности поколений, родовых связей, бежали когда-то родители П. Флоренского, чтобы уединиться в замкнутом «семейном раю». Ведь даже «просто видеть этот мир уже означает замараться и соучаствовать во всех его мерзостях».

**6. Перестукивание с Богом.** Даже в тюрьме возможен разговор с Богом – через перестукивание, возможен – если узнаешь код. Так думает герой «Онтологии». Почему перестукивание? В тюрьме творится своя мифология, и один из мифов – существование особого языка морзянки для

общения с теми, кто сидит в соседней камере. Перестукивание как легендарный язык имеет для героя более высокий статус подлинности, чем ругань или разговор в камере и на общих работах. «Иногда думаешь – если бы наш Создатель захотел с нами перестукиваться, что бы мы услышали? Наверное, что-то вроде далеких ударов по свае, забиваемой в мерзлый грунт, — непременно через равные интервалы». Так своеобразно вводится представление о божественном ритме – дробный стук через равные интервалы. У П. Флоренского – ритмический звук волны, звук, имеющий ноуменальный статус, также описывается как дробный, зернистый – он изрезан ритмами более мелкими и частыми – до бесконечной расчлененности, «всегда дающей пищу умному постижению». В детстве кажется, что можно перестукиваться с Богом. «Ведь отвечать ему – значит просто чувствовать и понимать все это». Только потом понимаешь, что переговариваться с Богом нельзя, потому что ты сам и есть его голос, постепенно становящийся все глуше и тише.

**Предварительные выводы исследовательского этюда.** Они могут быть лишь предположительными и обозначающими в самых общих контурах стратегию дальнейшего поиска. Уровень мироздания, его онтологических и метафизических глубин, на первый взгляд, принципиально не доступен опытному, эмпирическому освоению. Тем не менее, человек потенциально наделен способностью (или даром?) умопостижения, этим условием возможности сообщаемости двух миров – человеческого-природного и надчеловеческого-надприродного. Однако, в предельных случаях, для людей, наделенных особым «метафизическим чувством» и страстной энергией «метафизического переживания» (В. Дильтей), эта способность и дар умопостижения предстает как глубоко персональный индивидуальный опыт встречи с онтологическим измерением мира, живого и конкретного освоения «метафизического ландшафта». И этот опыт очень часто оказывается «опытом детства», либо рефигурируется и описывается на языке детства. «Метафизические гении», среди которых – великие ученые, философы, поэты, религиозные мыслители и мистики, – являются гарантами «понимаемости» мира в самых глубоких его основаниях. В указанном контексте научный интерес к метафизическому языку детства (и в режиме «как это было на самом деле», и в режиме «интерпретирующего воображения») оказывается небесполезным, тем более, что эта «проблемная зона» для философии и гуманитаристики в целом пока еще – своеобразная terra incognita.

### Литература

1. Богачев А. Філософія мистецтва Р. Дж. Колінгвуда: герменевтична філософія може бути натуралістичною // Феноменологія і мистецтво. Щорічник

- Українського феноменологічного товариства 2002–2003. – К.: ППС-2002, 2005. – С. 3–22.
2. *Бурдые П.* Поле литературы // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 5 (45). – С. 22–87.
  3. *Вальденфельс Б.* Мотив Чужого: Сб. пер. с нем. / Науч. ред. А. В. Михайлов. – Минск: ПроPILEI, 1991. – 176 с.
  4. *Вальденфельс Б.* Топографія Чужого: Студії до феноменології Чужого / Пер. з нім. В. Кебуладзе. – К.: ППС-2002, 2004. – 206 с.
  5. *Веселова Н. В.* «Событие жизни – событие текста». – Режим доступа: // <http://www.ruthenia.ru/folklore> – проект «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика».
  6. *Голубович І. В.* Биографический акт: на острие жизни и письма (соотношение нарративного и экзистенциального измерений) // Філософські пошуки. – Вип. XVII–XVIII. – Львів–Одеса, 2004. – С. 588–597.
  7. *Гуссерль Э.* Картезианские размышления / Пер. с нем. Д. В. Складнева. – СПб: Наука; Ювента, 2004. – 316 с.
  8. *Иванова-Георгиевская Н. А.* Феноменологические идеи Э. Гуссерля как предпосылка онтологической экспликации игры О. Финком и Г. Х. Гадамером // Феноменологія і мистецтво. Щорічник Українського феноменологічного товариства 2002–2003. – К.: ППС-2002, 2005. – С. 33–50.
  9. *Лотман Ю. М.* Биография – живое лицо // Новый мир. – 1985. – № 2. – С. 228–236.
  10. *Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия / Пер. с франц. под ред. И. С. Вдовиной и С. Л. Фокина. – СПб: Ювента; Наука, 1999. – 608 с.
  11. *Новикова М.* Іншологія: Досвід С. Аверінцева // Дух і літера. – № 9–12. – К.: Дух і літера, 2002. – С. 13–21.
  12. *Пелевін В. О.* Онтологія дитства. – Режим доступа: <http://pelevin.nov.ru/rass/pe-det/1.html>.
  13. *Флоренський П. А.* Детям моим. Воспоминания прошлых дней. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 379 с.
  14. *Щюц А.* Дон Кихот и проблема реальности // Философская и социологическая мысль. – 1995. – №. 11–12. – С. 144–169.
  15. *Sarito J. D.* Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project. – Indiana University Press, 1987. – 320 p.

